

*Имперская тень — 2.
Дело адвоката Гринева*

Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев

**Имперская тень — 2.
Дело адвоката Гринева**

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Имперская тень — 2. Дело адвоката Гринева / В. Кожедеев — «Автор», 2026

1895 год, Санкт-Петербург. Адвокат Алексей Гринев, раскрывший заговор против императора и разоблачивший коррупцию в Министерстве путей сообщения, проигрывает битву. Князь Трубецкой — в Париже. «Куратор» Макаров — в Сибири. Великий князь Сергей Александрович — в Москве. Никто из них не понёс заслуженного наказания. Гринев возвращается к повседневной работе — защищает вдов, обиженных крестьян, мелких чиновников, которых обманули сильные мира сего. Он учится молчать, но не забывать. Он смотрит, как Петербург готовится к коронации Николая II, как наряжаются улицы, как танцуют на балах, как на Ходынском поле гибнут люди — а император не отменяет бала. И вдруг — новое письмо. От того, кого считали мёртвым. От сенатора Шереметева. «Гринев, — пишет он, — я знаю, кто стоит за великим князем. Я знаю, кто управляет коррупцией из самой высокой башни. Приезжайте. Время пришло». Эта книга — продолжение исторического детектива о коррупции, предательстве и правде, которую невозможно убить.

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Ночь после победы	5
Глава 1. Вдова с пророчеством	14
Глава 2. След в министерстве путей сообщения	27
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Владимир Кожедеев

Имперская тень — 2.

Дело адвоката Гринева

Пролог. Ночь после победы

Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом 137

Конец сентября 1895 года, около полуночи

Белая ночь уходила неохотно, цепляясь за шпиль и карнизы, застывая в оконных стёклах призрачным отсветом — тем особенным, петербургским отсветом, который не спутаешь ни с каким другим: бледно-золотистым, чуть зеленоватым у горизонта, напоминающим старую фреску, которую реставраторы покрыли лаком, но не смогли спасти от времени. Небо над городом было уже не светлым, не молочно-белым, каким бывает в июне, когда солнце только прячется за линию воды на час-полтора и снова выныривает, будто передумав уходить, а тяжёлым, свинцово-жемчужным, с густеющей синевой на востоке, где за Невой, за заводскими трубами Охты, за болотами, уходящими к Ладоге, начиналась осень. Та осень, которая в Петербурге не радуется золотом листвы — её здесь почти нет, — а приходит с туманами, с промозглыми ветрами с залива, с первыми заморозками, от которых трескается кожа на руках и ноют старые раны.

Сумерки в Петербурге всегда наступают внезапно — будто кто-то невидимый поворачивает выключатель, и мир из призрачного, нереального, населённого тенями и отражениями становится вдруг явным, осязаемым, тревожным. Днём, в суете, в стуке экипажей и криках газетчиков, город казался почти живым, почти нормальным. Но ночью, особенно в такую ночь, когда небо не чернеет, а только темнеет до глубокой синевы, Петербург обнажал свою суть: город-призрак, город-фантом, построенный на костях и болотной жиже, где каждый камень помнил чью-то смерть, а каждый фонарь освещал чью-то тайну.

В кабинете на третьем этаже доходного дома купца Распопина — человека, который разбогател на казённых подрядах во время турецкой кампании 1877–1878 годов, а теперь сдавал квартиры «чистой публике», но сам по-прежнему пах потом и квасом даже после бани, — горела одна лампа. Керосиновая, с зелёным стеклянным абажуром, который отбрасывал на письменный стол круг жёлтого, чуть маслянистого света, пахнувшего керосином и нагретым стеклом. Этот круг был маленьким, не больше аршина в поперечнике, но он казался островком тепла в океане полумрака.

За пределами круга всё тонуло в тенях: книжные шкафы до потолка — восемьсот томов, от Свода законов до французских детективных романов, которые Алексей стыдливо прятал на нижней полке; грифельная доска с остатками меловых записей — «Факты», «Версии», «Ложные следы», — где ещё виднелись размытые влажной тряпкой иероглифы недавних рассуждений; настенная карта Российской империи, военная, с пометками красными, синими и чёрными булавами, которые отмечали места преступлений, запросов и врагов. Чёрных булавок после Харькова прибавилось. И, наконец, в углу, на полу, — старый капитанский сундук с медными углами и буквами «К.Г.» на крышке, всё ещё не закрытый, с кипой бумаг, которые ждали разбора, сортировки и, возможно, нового осмысления.

Алексей Гринев сидел за столом, откинувшись на спинку кресла — того самого, продранного, с торчащей паклей, которое он вывез из Малых Куликов после смерти отца и которое помнило капитана лучше, чем любой памятник, — и смотрел на разбитый компас.

Отец компас не чинил. Нарочно не чинил — Алексей теперь это понимал, хотя раньше, в детстве, удивлялся, почему капитан Гринева, такой аккуратный, такой педантичный в вещах, не отдал старый прибор часовщику. Теперь он знал: капитан хотел, чтобы его сын запомнил урок. Любая вещь, которая спасла тебе жизнь, имеет право на шрам. Шрам — это память. Память — это урок. Урок — это оружие. Оружие, которое всегда при тебе, которое не отнимут, которое не разрядится в самый неподходящий момент.

Алексей взял компас в руки, повертел, поднёс к лампе. Крышка — медная, с выцветшим покрытием, на котором когда-то был выгравирован год выпуска — 1875, — была вогнута внутрь. Свинцовая пуля застряла в металле, пробив его насквозь, сплюснись, потеряв силу, но оставив вмятину — безобразную, несимметричную, похожую на кратер маленького вулкана. Вокруг вмятины металл почернел — от окисления или от порохового нагара, Алексей не знал. Ему нравилось думать, что это след от выстрела, который должен был стать его последним.

Пуля была сплюсненной, похожей на маленький грязный гриб, выросший на медной почве. Алексей достал её — она выпала сама, когда он перевернул компас, — и положил рядом, на зелёное сукно стола. Теперь они лежали вместе: компас и пуля, символы защиты и угрозы. Вещи, которые не должны были встретиться, но встретились. И один спас другого от другой.

Харьковский эксперт — старый криминалист, служивший в судебно-медицинской лаборатории ещё при Александре II, с седыми бакенбардами и руками, дрожащими от многолетней работы со скальпелем, — сказал тогда, осмотрев компас: «Стреляли из револьвера системы «Лефоше» калибра 11 миллиметров, с расстояния не более пятнадцати шагов. Если бы не эта вещь — эта старая, нелепая вещь, которую нормальный человек давно выбросил бы, — пуля вошла бы в левую сторону груди, пробила бы лёгкое и застряла в позвоночнике. Смерть — мгновенно или через минуту. Не важно. Важно, что вас бы не стало».

Алексей тогда не ответил. Он только взял компас, положил в карман и вышел из лаборатории, чувствуя затылком взгляд эксперта — удивлённый, восхищённый, чуть завистливый. Старик, наверное, думал: «Везёт же некоторым».

«Вот так, папа, — подумал Алексей, глядя на компас сейчас. — Ты спас меня дважды. Первый раз — когда воспитывал, когда учил смотреть на плечи, искать неочевидное, не бояться решать. Второй раз — когда компас в карман положил. В тот день, когда я прощался с тобой в последний раз, я не знал, что ты даёшь мне не просто память. Ты давал мне жизнь.»

Он положил компас на стол, рядом с пулей, и взял письмо.

Письмо капитана Николая Алексеевича Гринева лежало в раскрытом конверте — плотном, кремовом, из той самой дорогой бумаги, которую капитан берег для особых случаев. Конверт был помят, надорван по краю, сургучная печать с Георгиевским крестом треснула пополам, когда Алексей вскрывал её в Малых Куликах, стоя на коленях у могилы отца. Он так и не выбросил конверт — не смог. Всё казалось, что в нём ещё что-то есть, какой-то воздух, какое-то дыхание, которое отец выдохнул, когда писал последние строки.

Письмо было написано на четырёх листах — мелко, тесно, но разборчиво. Капитан Гринева писал не торопясь, обдумывая каждое слово, как когда-то писал рапорты командиру полка. Без лишних эмоций. Только факты. Только выводы. Только то, что нужно знать сыну, чтобы выжить.

«Я знал о заговоре Долгорукова. Знал ещё в 1892 году».

Алексей перечитал эту строчку уже в двадцатый раз, но каждый раз она отзывалась в нём чем-то новым. «Знал» — значит, сидел в Малых Куликах, в старом доме с провалившейся крышей, где даже летом пахло печным дымом и сыростью из подполья. Перебирал какие-то бумаги — наверное, те самые, которые теперь лежали в сундуке, ждали своего часа. Хотел поехать в Петербург — собраться, написать, отправить. Но подагра скрутила — та самая, которая мучила капитана последние пять лет, превратив его сильные, натруженные руки в узловатые коренья, не способные держать перо. А может быть, и страх — не физический, не тру-

сость перед врагом, а иной: страх не успеть, страх сделать хуже, страх, что сын — тогда ещё двадцатилетний мальчишка, только начинающий свою карьеру присяжного поверенного, — не поймёт, ввяжется, погибнет.

И всё-таки — знал. И оставил сыну не улики, не имена, а метод. Уроки. Систему мышления, которая оказалась сильнее любого досье.

Алексей провёл рукой по лицу, потёр переносицу. Усталость навалилась после харьковская — не та, лёгкая, от которой хочется сладко потянуться и закрыть глаза, а та, тяжёлая, свинцовая, когда веки слипаются, но мысли не засыпают, а бродят по кругу, как запертые в клетке звери. Он был в Харькове, видел психиатрическую больницу — серое, казённое здание с решётками на окнах, где пахло карболкой и отчаянием. Видел палату, где убили Хомутова, — маленькую, тесную, с железной кроватью и пятнами крови, которые не смогли отмыть. Говорил с профессором Лещинским — тихим, вежливым, образованным человеком, который оказался палачом, убивавшим пациентов по телефонному звонку. Говорил с Петром Воронцовым — живым мертвецом, который должен был гнить в Сибири, но сидел в харьковском трактире, пил дешёвую водку и рассказывал о своей ненависти и о своей несостоявшейся мести.

Потом — поезд. Двое суток тряски в вагоне первого класса, где Алексей ехал один, потому что Дмитрий остался в Петербурге разбирать дела. Стук колёс, монотонный, усыпляющий, и бесконечные поля за окном — уже убранные, чёрные, с редкими деревнями, где горели одинокие огни. Запах угля и махорки, проникавший в купе даже через закрытые окна, и сосед-генерал, который всю дорогу играл в дурачка со своим денщиком и выигрывал.

И вот — Петербург. Набережная Фонтанки, дом 137. Осенняя сырость, которая забирается под одежду, под воротник, под кожу, и не отпускает, напоминая, что лето кончилось, а впереди — долгая, тёмная, холодная зима.

На столе, справа от компаса, лежала стопка бумаг — те самые, которые Матрёна принесла из прихожей, когда он только вернулся с вокзала, скинул пальто и сел в кресло, чтобы отдышаться. Письма, прошения, повестки. Жизнь, которая не ждала, пока Алексей Гринев разберётся со своими заговорами и убийствами. Жизнь, которая требовала внимания, денег и времени.

Межевой спор в Тверской губернии. Два помещика, два соседа, которые десять лет судились из-за полосы леса в двадцать десятин. Лес давно вырубил, землю распахали, но принцип остался. Каждый требовал своё, потому что «честь дороже денег». Алексей взялся за это дело, потому что ему стало жаль их обоих — стариков, которые, если не помирятся, умрут в судах, не успев увидеть внуков. Он уже послал им проект мирового соглашения. Ждал ответа.

Иск купца второй гильдии Фёдора Кузьмича Лыткина к страховому обществу «Саламандра». Лыткин застраховал товар — партию кожи, которая сгорела на складе по вине рабочих, кутивших в неподобающем месте. Страховая компания отказала в выплате, сославшись на «форс-мажор» и «нарушение правил хранения». Лыткин, торговавший кожей тридцать лет, стоял на грани разорения. Алексей согласился вести дело за пять процентов от выигранной суммы — потому что Лыткин был честным человеком и никого не обманывал.

Прощение вдовы титулярного советника Анны Ивановны Печёрниковой. Новая вдова, не та, что была в прошлом году. Другие лица, другие беды, но формулировки — те же. «Незаконное лишение пенсии в связи с формальным несоответствием документов». Чиновники, сидевшие в департаменте, требовали справку о том, что муж умер именно на службе, а не дома. Вдова принесла свидетельство о смерти, где было написано: «Скончался от разрыва сердца в присутственном месте». Чиновники не поверили — «присутственное место» могло быть чем угодно, хоть трактиром. Алексей написал жалобу на имя министра. Ждал ответа.

И в самом низу стопки, придавленный всеми этими бумагами, — плотный конверт с гербовой печатью, который заставил Алексея задержать взгляд дольше, чем на остальных.

Конверт был адресован: «Присяжному поверенному А. Н. Гриневу. Набережная Фонтанки, 137. С.-Петербург». Почерк — изящный, женский, с завитушками на буквах, которые выдавали в писавшей выпускницу Смольного института благородных девиц. Обратный адрес — «Её сиятельство графиня Е. П. Шереметева, Литейный проспект, 48».

Алексей знал этот особняк. Старый, ампирный, с колоннами и львами у входа, с чугунной решёткой, на которой позолота облупилась, но дворники каждое утро натирали её до блеска, чтобы не стыдно было перед прохожими. Один из тех домов, где пахнет историей, нафталином и ещё чем-то неуловимым — деньгами, наверное, или властью, которая уже не та, что прежде. Графский род Шереметевых был древним — их предки стояли у трона ещё при Иване Грозном, водили полки в походы, женились на царских родственницах. Теперь, в конце XIX века, они доживали свой век в старых особняках, перебирая фамильные бумаги и вспоминая былое величие. Граф Степан Павлович Шереметев, тайный советник, сенатор, был одним из тех, кто ещё пытался сохранить достоинство рода. Исчез месяц назад.

Алексей разорвал конверт — аккуратно, чтобы не повредить печать, которую, возможно, придётся предъявлять экспертам, — и достал письмо. Бумага была плотной, верже, с водяными знаками в виде графской короны, вензеля «ЕШ» и двуглавого орла — символа того, что письмо отправлено из дома, имеющего право на герб. Почерк — женский, нервный, с прорывами пера на нажимах. Графиня писала быстро, не подбирая слов, не заботясь о каллиграфии — только о смысле. Только о том, чтобы её поняли.

Он прочитал письмо, отложил, потом взял снова и перечитал. Вслух — тихо, чтобы не разбудить Вари, спавшую за стеной:

«Милостивый государь, Алексей Николаевич!

Обращаюсь к Вам по рекомендации Вашего друга, господина Гурко, который посоветовал мне Вас как человека, умеющего «видеть неочевидное». Мой муж, тайный советник, сенатор Степан Павлович Шереметев, исчез месяц назад, 27 августа. Вышел из дома утром, сказал, что едет в Сенат, и не вернулся. Полиция провела обыск, опросила сослуживцев, осмотрела его кабинет. Вердикт: «пропал без вести, вероятно, самоубийство». Но я знаю мужа. Он не был склонен к самоубийству. Он был занят важным делом — пересмотром судебного решения по делу о хищениях в Военном министерстве. Он говорил, что «нашёл нить, которая ведёт на самый верх». Через три дня он исчез. Умоляю Вас, примите это дело. Я готова платить любые деньги. Я не верю в самоубийство.

С надеждой,

Графиня Елена Петровна Шереметева.»

Алексей перечитал письмо в третий раз. «Ведёт на самый верх» — фраза, которая в Петербурге 1895 года значила многое. Самый верх — это министры, это двор, это люди, которых нельзя тронуть без высочайшего соизволения. Сенатор Шереметев — немолодой уже человек, заслуженный, опытный, знавший цену словам, — исчезает после того, как заявляет о важной находке. Полиция закрывает дело за месяц — слишком быстро даже для петербургской полиции, которая не славилась расторопностью и любовью к работе. Значит, кто-то сверху, кто-то с правом отдавать приказы, сказал: «Закреть». И полиция закрыла. Не потому, что ей заплатили — это было бы слишком мелко. А потому, что пришёл человек с нужным мундиром или нужной бумагой и вежливо, но твёрдо объяснил: «Это дело не вашего ума».

Алексей отложил письмо в сторону, на край стола, туда, где лежала папка с кожаным корешком, на которой было вытеснено золотом: «Вероятные».

Папка «Вероятные» была почти пуста. После дел о «Священной десятина» Алексей разобрал её, переложил документы в сейф, в железное нутро, где лежали отцовский револьвер, завешание, письма, которые нельзя было показывать посторонним, и копии всех бумаг, связанных с заговором. Он оставил в папке только несколько страниц — выписки из газет, короткие

заметки, сделанные наспех карандашом, и одну фотографию. Фотографию человека, которого он искал, но пока не нашёл.

«Вероятные» — это дела, которые ещё не поступили официально, но уже требовали внимания. Дела, в которых была какая-то странность, какой-то намёк на то, что полиция ошиблась или соврала, что свидетель был подкуплен, что улики были подброшены. Алексей вёл эту папку по совету отца, сказанному однажды зимним вечером, когда они сидели у печи в Малых Куликах и разбирали старые бумаги.

«Если чувствуешь, что дело нечисто, не жди, пока его принесут, — говорил капитан Гринева, постукивая трубкой о каминную решётку. — Иди сам. Ищи. Копай. Потому что, пока ты ждёшь, правду могут закопать так глубоко, что никто никогда не найдёт. Ни ты. Ни твои дети. Ни внуки. А правда, которая не найдена, — это не правда. Это ложь, которую все приняли за правду.»

Алексей достал папку, положил в неё письмо графини. Добавил лист чистой бумаги, на котором написал карандашом — крупно, во всю ширину, чтобы видно было даже при тусклом свете лампы:

«ДЕЛО № 17. ШЕРЕМЕТЕВ, Степан Павлович, тайный советник, сенатор.

Исчез: 27 августа 1895 года.

Обстоятельства: вышел из дома утром, не вернулся.

Версия полиции: «вероятное самоубийство».

Версия графини: убит или похищен за связь с делом о хищениях в Военном министерстве.

Ключевая фраза сенатора: «нашёл нить, которая ведёт на самый верх».

Вопросы:

1. Кто «наверху»?
2. Кто заказал закрытие дела?
3. Жив ли сенатор?
4. Если мёртв — где тело?
5. Если жив — где он?»

Он посмотрел на написанное и задумался. Вопросы были правильными, но ответов не было. Пока не было.

В это время года — в конце сентября, когда сумерки в Петербурге тянутся долго, потому что солнце уже устало подниматься высоко, — ночь не наступает сразу. Она подкрадывается, задерживается у окон, заглядывает в щели ставен, шуршит опавшими листьями по тротуарам. Алексей сидел неподвижно, глядя в темноту за окном, и думал о том, как много в этом городе исчезающих людей.

Факт эпохи (из архивов Санкт-Петербургского градоначальства за 1894 год): в 1895 году в Санкт-Петербурге бесследно исчезло 327 человек. Мужчины, женщины, дети, старики. Некоторые находились — в Неве, в подвалах, на пустырях за Московской заставой, в общих могилах на Смоленском кладбище. Большинство — нет. Их имена вносили в списки, списки ставили на полку, полку задвигали в шкаф, шкаф запирали, а ключ выбрасывали. Полиция не любила такие дела. Они требовали времени, денег, связей, контактов с теми, кто не хотел контактов. Проще было списать на самоубийство или на отъезд за границу — тем более что многие действительно уезжали за границу, потому что в Петербурге становилось тесно, душно, страшно. Тем более если в деле фигурировало высокопоставленное лицо, и кто-то сверху шептал: «Закройте. Не позорьте ведомство».

Алексей знал эту механику. Он сталкивался с ней в деле Долгорукова, когда жандармы пытались замять улики, когда Дурново давил на следователей, когда Мещерский угрожал свидетелям. Тогда он победил. Но победил ли он на самом деле? Заговорщиков наказали, их имена прозвучали в суде, их приговоры были оглашены. Но система осталась. Та же самая система,

которая позволяла чиновникам красть, убивать, исчезать, а потом возвращаться на службу, будто ничего не случилось. Дурново, уволенный в 1895 году, уже строил планы возвращения — и, как знал Алексей, эти планы были небеспочвенны. Через десять лет он станет министром внутренних дел. Тот самый человек, который не мешал заговору, который ждал, кто победит, чтобы примкнуть к сильному.

«Тени прошлого не исчезают, — подумал Алексей. — Они ждут своего часа. И час этот всегда наступает, когда ты меньше всего готов. Вот он, этот час — письмо графини Шереметевой. Новый след. Новая тайна. Новая битва, в которую я, кажется, уже втянут, даже не успев дать согласие».

Он взял перо, повертел в пальцах, положил на место. Писать ответ графине он будет завтра. Сейчас — другое. Сейчас — думать.

Дверь в кабинет приоткрылась — бесшумно, настолько, что Алексей не услышал, а почувствовал движение воздуха за спиной. На пороге стояла Варя. В ночной рубашке, босая, с распущенными волосами, которые падали на плечи каштановыми волнами, она казалась девочкой — той самой Катей, которая когда-то сочувствовала дяде Петру и носила ему еду во флигель, скрываясь от матери. Но глаза у неё были уже не девичьи, а взрослые — усталые, внимательные, всё понимающие.

— Ты не ложишься, — сказала она. Это был не вопрос — констатация факта, который она знала и без слов.

— Не могу уснуть, — ответил Алексей, отодвигая папку «Вероятные» в сторону, чтобы Варя не видела — или чтобы не мешать себе видеть её.

— Из-за Харькова? — она подошла, села на край стола — там, где не было бумаг, — положила руку ему на плечо. Пальцы у неё были тёплыми, несмотря на ночную прохладу, пахло от них ванилью — она любила добавлять ваниль в молоко перед сном. — Или из-за чего-то другого?

Алексей взял письмо графини, протянул Варе. Она прочитала — медленно, шевеля губами, как когда-то в детстве, когда училась читать по слогам. Потом подняла глаза.

— Сенатор Шереметев? Я помню его. Он приезжал к отцу в имение, когда я была маленькой. Привозил мне куклу из Петербурга — фарфоровую, с настоящими волосами. Я назвала её Машей. — Варя помолчала, вспоминая. — Он был добрым. И честным. Таких не бывает самоубийц.

— Вот и я так думаю, — сказал Алексей. — Поэтому, наверное, и не могу уснуть. Сижусь здесь, в полночь, перебираю бумаги, как какой-нибудь сыщик из дешёвого романа.

— Ты возьмёшься за это дело? — спросила Варя.

— Пока не знаю. Сначала — разобраться, что там, за этим письмом. Кто такая графиня, кто такой её муж, кто те, кто могли быть заинтересованы в его исчезновении. А потом — решать.

Он встал, подошёл к окну. Внизу, на набережной Фонтанки, горел одинокий фонарь — газовый, жёлтый, дрожащий, как свеча на ветру. По тротуару шёл человек в длинном пальто, с поднятым воротником, быстро, почти бегом. Исчез в арке дома напротив — 136-го, где жил старый чиновник из Департамента герольдии, который никогда не выходил из дома после девяти вечера. Кто же это был? Алексей не успел разглядеть.

— Знаешь, — сказал он, не оборачиваясь, — мой отец говорил: «Победа не приходит одна. Она приводит за собой новые вопросы». Я не понимал тогда, что это значит. Думал, это просто красивые слова, которые говорят старые офицеры, чтобы казаться мудрыми. Теперь понял.

— И что это значит?

— Это значит, что мы выиграли битву, но не войну. Мещерский в Сибири, Долгоруков в крепости, Хомутов мёртв — кто-то убил его, пока мы разбирались в Харькове. Но те, кто стоял

за ними, кто давал деньги, кто обещал амнистию, кто писал письма с кличкой «Благодетель», — они остались. И они продолжают играть в свою игру. Тихо. Осторожно. Не высовываясь. А когда высовываются такие, как сенатор Шереметев, они исчезают.

— И ты хочешь им помешать.

— Не я — правда. Я только её провожатый. Ищейка, которая берёт след и идёт по нему, пока не упрётся в стену. А если стена оказывается бумажной — пробивает её.

Варя вздохнула — глубоко, по-бабы, как вздыхала Матрёна, когда узнавала, что Алексей снова уезжает по делам. Встала, подошла к нему, обняла со спины, прижалась щекой к его спине, к тёплой фланели домашней рубашки.

— Тогда, — сказала она, — иди. Разбирайся. Ищи. Делай то, что должен делать. А я буду ждать. И буду молиться. Потому что кто-то же должен ждать и молиться. Пока другие — ищут и решают.

Алексей повернулся, посмотрел на неё. В полутьме кабинета, освещённой только зелёным абажуром лампы, её лицо казалось старым портретом — из тех, что висят в дворянских особняках и смотрят на потомков с немым укором. Но глаза были живыми. И в них не было укора. Только тихая, спокойная вера.

— Спасибо, — сказал он. — Иди спать. Я скоро.

Варя кивнула, поцеловала его в щёку и вышла, притворив дверь. Алексей остался один.

Он сел за стол, открыл папку «Вероятные», ещё раз перечитал письмо графини. Потом достал из ящика чистый лист бумаги — плотной, хорошей, той самой, которую держал для официальных ответов, — обмакнул перо в чернильницу (серебряную, с бронзовым львом, у которого была отбита лапа — память о неловкости Матрёны) и начал писать.

Он писал медленно, тщательно выбирая слова. Такие письма не терпят суеты.

«Ваше сиятельство, графиня Елена Петровна!

Благодарю Вас за доверие, оказанное мне рекомендацией господина Гурко, которого я имею честь считать своим другом и соратником. Дело, о котором Вы пишете, представляется мне не только сложным, но и крайне важным — не только для Вас и Вашей семьи, но, возможно, для многих других, кто столкнулся с подобным положением.

Я принимаю это дело.

Прошу Вас прислать мне копии всех документов, касающихся исчезновения Вашего мужа: его служебных бумаг, дневников (если он их вёл), записок, писем, которые он получал и отправлял в последние две недели перед исчезновением. Также прошу Вас составить список лиц, с которыми он встречался в этот период, — сослуживцев, знакомых, друзей, даже случайных людей, если Вы о них знаете.

Встретиться с Вами могу в любое удобное для Вас время. Предлагаю среду, 3 октября, в два часа пополудни, в Вашем особняке, если это Вас не затруднит, или в моей приёмной на Фонтанке, 137, если Вам будет удобнее.

С надеждой на скорый ответ и с уверенностью, что истина будет найдена,

Остаюсь Вашим покорным слугой,

Присяжный поверенный А. Н. Гринев.»

Он сложил лист, запечатал в конверт, надписал адрес — «Её сиятельству графине Е. П. Шереметевой, Литейный проспект, 48» — и отложил на край стола. Завтра Матрёна отправит с посыльным. Сегодня — всё, что он мог сделать.

Потом он взял отцовский компас, повертел в руках, погладил вмятину, оставшуюся от пули. Стрелка застыла, указывая на север — туда, где за тысячу вёрст, в забытых Малых Куликах, спала вечным сном капитан Гринев. Или не спал — а смотрел оттуда, из-за облаков, на своего сына, который, как и обещал, не сдавался, не боялся, не отступал.

«Тени прошлого не исчезают, — подумал Алексей. — Они ждут своего часа. И час этот всегда наступает, когда ты меньше всего готов. Вот он, этот час. Письмо. Новое дело. Новые

поиски. Новая битва. Начнётся она завтра — или послезавтра, когда мы с графиней встретимся и когда я увижу её глаза. В них — вся правда. В них — вся надежда. В них — вся боль женщины, которая потеряла мужа и не верит, что он ушёл сам.»

Он погасил лампу. В кабинете стало темно — только свет фонаря с улицы пробивался сквозь щели ставен, ложась на пол длинными жёлтыми полосами, похожими на шпалы железной дороги, по которой уходят поезда — в прошлое, в будущее, в никуда. Алексей прошёл в спальню, лёг рядом с Варей, закрыл глаза. Но сон не шёл.

В голове вертелись лица. Профессор Лещинский с его водянистыми, как у мёртвой рыбы, глазами, который вскрывал вены пациентов и смотрел на кровь, как на интересный эксперимент. Пётр Воронцов в рваной шинели, с синим шрамом на шее, который пил дешёвую водку в харьковском трактире и говорил: «Я не прошу прощения. Я просто хочу, чтобы Варя не боялась. И её дети не боялись». Графиня Шереметева — Алексей никогда её не видел, но представлял почему-то маленькой, сутулой женщиной в чёрном платье, сжимавшей в побелевших пальцах кружевной платок, которым она вытирала глаза, когда думала, что никто не видит.

Он заснул под утро, когда небо за окном начало светлеть — сначала серым, потом бледно-розовым, потом золотистым, — а с Невы потянуло сыростью и свежестью, предвещающая хороший, но холодный день.

Ему снился отец. Капитан Гринева стоял в сарае, в Малых Куликах, у соломенного чучела, одетого в старый полковой мундир. Того самого, в котором он ходил в атаку под Плевной, того самого, который был пробит турецкой пулей и зашит полковым швецом — криво, но крепко. В руке отец держал не винтовку, не шашку, а обычную палку — ту самую, которой когда-то указывал Алексею на ошибки: «Смотри, сын. Смотри на плечи. Ты пропустил движение. Вот здесь, левое плечо пошло назад — значит, удар правой. А ты не ушёл».

— Смотри, сын, — сказал капитан во сне. — Смотри на плечи. Ищи неочевидное. Решай задачи, которые никто не решает.

— Решил, папа, — ответил Алексей во сне. Он стоял напротив отца, как когда-то, тринадцатилетним мальчишкой, в том же сарае, на том же утрамбованном полу, который помнил тысячи шагов и сотни падений. — Решил одну. Мещерского сослали, Долгорукова посадили. Заговор раскрыт. Император спасён.

— Решил одну, — кивнул капитан, не улыбаясь, но и не хмурясь. — А их много. Каждое исчезновение — это задача. Каждое молчание — это загадка. Каждый человек, который не вернулся домой, — это вопрос, на который кто-то должен ответить.

— Я отвечу, папа. Я научен.

— Знаю. Потому и спокоен.

Капитан повернулся и пошёл к выходу из сарая. В дверях он остановился, оглянулся — и улыбнулся. Той редкой, доброй улыбкой, которую Алексей помнил с детства и которую так редко видел в последние годы, когда подагра скрутила отца и улыбаться стало больно.

— Береги себя, — сказал капитан. — И помни: компас не работает. Но он всегда указывает путь.

Отец исчез, растаял в утреннем тумане, который стоял над полем, оставив Алексея одного на пустыре, с разбитым компасом в руке и с чувством, что впереди — дорога, длиннее, чем та, что пройдена. Идти по ней придётся одному. Но не одиноко — потому что память идёт с ним. И уроки. И надежда.

Алексей проснулся. За окном занимался день. На столе, в папке «Вероятные», лежало письмо графини Шереметевой, ждавшее ответа. На отдельном листе, написанном его рукой, — вопросы, на которые предстояло найти ответы. В сейфе, в железном нутре, хранились документы, способные уничтожить любого, но неспособные воскресить мёртвых. На подоконнике, в жестяном горшке, Матрёнина герань распустила новый цветок — красный, яркий, как капля крови.

За окном начинался новый день. Петербург просыпался — шумный, суетливый, равнодушный. Извозчики выезжали на линию, городские меняли ночную смену на дневную, газетчики выкрикивали заголовки, которых никто не читал, лавочники открывали ставни, торговки раскладывали товар, чиновники спешили на службу, студенты тащились на лекции, и только в одном доме на набережной Фонтанки лежал на столе конверт с гербовой печатью, обещавший новую тайну, новые поиски, новую битву.

Алексей встал, потянулся, подошёл к окну. Внизу, по набережной, шла девочка с портфелем — гимназистка, наверное, — и бросала крошки голубям. Голуби слетались, ворковали, дрались за каждую горбушку. Девочка смеялась.

«Продолжение следует, — подумал Алексей. — Если бы я писал книгу, я бы так и закончил. "Продолжение следует". Но я не пишу книгу. Я просто живу. Ищу. Решаю. Надеюсь.»

Он взял конверт с ответом графине, подошёл к двери, позвал:

— Матрёна!

— Чего, барин? — отозвалась старуха из кухни.

— Отправь это. Срочно.

— Ох, чует моё сердце, опять вы за своё, — вздохнула Матрёна, но конверт взяла. — Опять людей искать? Опять в переделки лезть?

— Опять, — усмехнулся Алексей. — А вы как думали?

Он вернулся в кабинет, сел за стол, взял перо и начал писать новое прошение — по делу купца Лыткина, о страховой выплате. За окном шумел город, жила своей жизнью империя, и где-то в этой жизни, в этом шуме, в этом хаосе, ждали своего часа ответы на вопросы, которые он только начал задавать.

«Продолжение следует», — мысленно повторил он и улыбнулся.

Алексей Гринева улыбался редко. Но сегодня — разрешил себе.

Глава 1. Вдова с пророчеством

Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом 137

25 сентября 1895 года, девять часов утра

Петербург в конце сентября напоминал человека, который никак не может решить, болен он или здоров. Небо то затягивало свинцовой пеленой, роняя на город мелкий, назойливый дождь, который не столько мочил, сколько пропитывал насквозь — до костей, до самого нутра, до того места, где прячется надежда, — то вдруг расчищалось, и тогда солнце, низкое, бледное, уже не греющее, а только слепящее, заглядывало в окна, и тени от карнизов падали на стены комнат, как решётки тюремных камер. В такие минуты казалось, что город хочет обмануть тебя, показать, что он ещё жив, ещё дышит, ещё помнит лето. Но обман длился недолго — через час небо снова затягивало, дождь начинался с новой силой, и прохожие, уже успевшие убрать зонты, снова раскрывали их, ругаясь сквозь зубы.

На Неве уже начался ледоход — не тот, весенний, бурный и радостный, когда льдины сталкиваются с грохотом, похожим на пушечную канонаду, а осенний, вялый, болезненный, когда по воде плывут редкие, тонкие льдинки, похожие на обрывки старой бумаги, на которой кто-то написал важное письмо, а потом выбросил, не отправив. Льдинки сталкивались, кружились, цеплялись друг за друга, образуя ненадолго хрупкие, прозрачные мосты, и тут же разваливались, уносимые течением вниз, к заливу, где они таяли в солёной воде, не успев превратиться в лёд по-настоящему.

С набережной тянуло сыростью и запахом гниющих водорослей — запахом, который петербуржцы узнают с закрытыми глазами и который не спутают ни с чем другим: ни с морским бризом, ни с болотной гарью, ни с чадом фабричных труб. Это был запах города, который построили на костях и который каждую осень напоминал о своём происхождении: вы, мол, здесь гости, а я — хозяин. И если вы не умеете дышать моим воздухом, уезжайте в Москву, там суше.

Извозчики накинули на лошадей попоны, сами кутались в мокрые шинели и ругались хриплыми голосами на тех редких прохожих, которые отваживались выйти из дома в такую погоду. Ругались по делу и без дела — на жизнь, на начальство, на дождь, на то, что овёс подорожал, а седоков стало меньше, потому что «эти господа предпочитают конку, а не живую лошадь, тьфу». Городовые на постах выглядели сонными, привалившись к фонарным столбам, и только мальчишки-газетчики носились по мостовой с пачками «Нового времени» и «Петербургского листка», выкрикивая заголовки, которые уже через час забудут, и они сами, и те, кто их слышал.

«Убийство в Харькове! Подробности!» — орал один, тощий, рыжий, в картузе, сдвинутом на затылок.

«Скандал в Сенате! Чиновники взяточники!» — вторил ему другой, потолще, в очках с треснувшим стеклом.

Никто не покупал газеты. Слишком сыро, чтобы доставать кошельки. Слишком хочется домой, к печке, к горячему чаю. Но мальчишки продолжали кричать, потому что крик — это их работа, а работать надо, даже когда никто не слушает.

В третьем этаже доходного дома купца Распопина — того самого, чьё имя никто не произносил без прибавления крепкого словца, хотя сам купец был человеком безобидным, только жадным до безобразия, — в квартире, где окна выходили на Фонтанку, было тихо. Тихо настолько, что слышно было, как за стеной, у соседей, играет шарманка. Старый вальс, который сочиняли ещё при Николае I, когда и самого дома этого не было, а на месте его стояла усадьба какого-то екатерининского вельможи, который, говорят, спустил состояние на карты и застрелился в этом самом кабинете, где теперь Алексей Гринева разбирал бумаги. Шарманка играла

чуть фальшиво — одна нота, «си», выпадала, издавая звук, похожий на кошачий вскрик, — но музыкант, старик с седой бородой и единственным глазом (второй потерял на войне), не обращал на это внимания. Он крутил ручку, и шарманка играла, и соседка снизу, толстая немка, платила ему пятак за час, чтобы он разгонял тоску.

Алексей не любил этот вальс. Он напоминал ему о детстве, о матери, которую он не помнил, о той пустоте, которая остаётся в человеке, когда самого главного нет рядом. Но сегодня он даже не замечал музыки — слишком погружён был в бумаги.

Кабинет выглядел так же, как и год назад, когда Алексей только начинал расследование по делу «Священной десятины». Те же стены, выкрашенные в бледно-зелёный — цвет, который, по мнению знатоков, успокаивает нервы и располагает к доверию. То же высокое окно с тяжёлыми шторами, которые Матрёна каждое утро раздвигала с такой силой, будто открывала ворота крепости. Тот же книжный шкаф до потолка, где на верхних полках — Свод законов, уголовные уложения, труды по судебной медицине и криминалистике, на средних — Спенсер, Дарвин, Бокль, на нижних — французские детективные романы, которые Алексей стыдливо прятал от клиентов, но сам перечитывал по ночам, когда не мог уснуть. Тот же портрет государя императора на стене — обязательный для всех казённых учреждений, хотя квартира Алексея казённой не была, но он повесил портрет, чтобы не дразнить полицию.

Та же карта Российской империи — огромная, военная, с пометками красными и синими чернилами, с булавами, которые Алексей втыкал и переставлял в зависимости от того, где происходили события его расследований. Красные булавы — места преступлений. Синие — города, куда нужно послать запрос. Чёрные — имена врагов. Чёрных булавок после Харькова прибавилось. Они торчали теперь не только в Белгороде, но и в Москве, и в самом Петербурге.

Но кое-что изменилось. На столе, на бархатной подушечке, которую Варя сшила специально для этой цели, лежал отцовский компас — медный, старый, с выцветшей шкалой, на которой ещё можно было разобрать буквы «С» (север), «Ю» (юг), «З» (запад), «В» (восток), если присмотреться. Компас был разбит — крышка вогнута внутрь, в металле зияла глубокая вмятина, вокруг которой металл почернел от окиси. В этой вмятине, как в кратере маленького вулкана, застряла пуля — сплюснутая, свинцовая, похожая на грязный гриб, выросший из медной почвы.

Часовщик, которому Алексей отдал компас в ремонт, долго вертел его в руках, вертел, потом снял очки, протёр их, надел снова, поднёс компас к лампе и сказал: «Механизм умер, барин. Починить нельзя. Внутри всё сместилось, пружина лопнула, ось сломана. Можно только корпус оставить как память». Алексей не стал настаивать. Он положил компас на стол и с тех пор держал его перед собой как напоминание. О чём? О смерти? О спасении? Об отце? Обо всём сразу.

Рядом с компасом, в такой же рамке — старой, с потускневшим серебром, — стояла фотография: капитан Николай Гринев, снятый в 1885 году в мастерской на Невском проспекте. Отец был в мундире, с Георгиевским крестом на груди, с усами, которые он так и не сбрил до самой смерти — кормил их, как он шутил, «на память о турецкой кампании». Стекло в рамке было треснутым — Алексей так и не заменил его, хотя Варя предлагала. «Так видно лучше, — говорил он ей. — Сквозь трещину видно то, что скрыто. Гладкое стекло обманывает. А трещина показывает, что мир несовершенен. И что это нормально».

Стол был завален бумагами, но в этом беспорядке чувствовалась система. Слева — законченные дела, которые ждали отправки в архив: папки, перевязанные бечёвкой, с аккуратными надписями, сделанными каллиграфическим почерком Дмитрия («Хрулёв, выиграно», «Мельникова, выиграно», «Сидоркин, мировое соглашение»). Справа — новые дела, только поступившие, ещё не разобранные. Одно из них, в зелёной папке, лежало сверху. На папке было написано: «Шереметева. Исчезновение мужа. Срочно». Алексей ещё не открыл её — только что принесли, — но краем глаза заметил, что папка толстая, набитая документами, и

на обложке — почерк, которым он никогда не видел. Женский, нервный, с прорывами пера на нажимах. Почерк человека, который пишет быстро, потому что боится не успеть.

В дверь постучали. Три коротких, два длинных, пауза, ещё один короткий — условный сигнал Дмитрия, который они придумали ещё во время расследования «Священной десятины», чтобы никто чужой не мог подделать. Дмитрий был человеком предусмотрительным, и Алексей его в этом не осуждал. Когда твой дядя пытался убить твоего отца, а потом сбежал из-под стражи (пусть и ненадолго), доверие к миру падает, а привычка проверять — растёт.

— Войдите, — сказал Алексей, не поднимая головы от бумаг. Он разбирал дело купца Хрулёва, которое только что выиграл. Суд признал подрядчика виновным в обмане, векселя оплачены, лес поставлен, и купец, растроганный до слёз, прислал бочонок мёда из своей вологодской пасеки. Мёд стоял в прихожей, и Матрёна, проходя мимо, каждый раз вздыхала: «Хоть бы сахарку прислал, батюшка, а то мёд — он зубы портит». Алексей велел ей взять мёд себе — она обиделась («Я что, пчёлка, чтобы мёд в одиночку есть?»), но бочонок утащила на кухню, где, вероятно, уже придумывала, с какой начинкой испечь пироги к воскресенью.

Дмитрий Воронцов вошёл, стряхивая с пальто капли дождя. Он был бледен — не так, как год назад, когда под глазами лежала синева от бессонных ночей и страха за отца, а по-другому, устало-деловито, как человек, который работает по двенадцать часов в сутки и считает, что это норма. Он изменился за последние месяцы: похудел, плечи стали шире, взгляд — твёрже. Щетина исчезла — он брился каждое утро, к вящему удивлению Матрёны, которая помнила его «неряхой». Галстук был завязан аккуратно — ровным, строгим узлом, без излишеств, — сюртук — отутюжен, хотя Дмитрий жил один и мог себе позволить ходить в чём попало. Он больше не походил на отчаявшегося дворянина, которого шантажирует пьяный дядя и который не знает, за что хвататься. Он походил на человека, который знает, чего хочет. И чего он хотел — Алексей догадывался: независимости, собственного дела, дома, где будет его семья, а не тени прошлого.

— Доброе утро, Лёша, — сказал он, вешая пальто на вешалку в углу кабинета. Пальто было новым, тёмно-синим, с бархатным воротником. Дмитрий купил его на прошлой неделе — первая крупная покупка после того, как он начал получать жалованье помощника присяжного поверенного. Он не хвастался, но и не скрывал: «Семь лет в одном пальто ходил, теперь можно и новое». — Ты уже видел, что прислали?

— Зелёную папку? Ещё нет. Только что заметил.

— Там вдова сенатора Шереметева. Надежда Павловна. Она была вчера, когда ты ушёл к Гурко. Оставила бумаги и просила передать, что зайдёт сегодня сама. В десять.

— Почему ты не сказал вчера? — Алексей поднял голову от бумаг. В голосе его не было упрёка, только любопытство.

— Ты пришёл поздно, — ответил Дмитрий, садясь на стул для клиентов — жёсткий, с прямой спинкой, специально выбранный для того, чтобы посетители не расслаблялись. — Я не хотел тебя беспокоить. Варя сказала, что ты выглядишь усталым.

— Варя слишком много заботится.

— Она твоя жена. Это её работа. — Дмитрий усмехнулся, но без той горечи, которая была в нём раньше. Он научился шутить о семейной жизни, хотя сам был холост и, судя по всему, не спешил жениться.

Алексей тоже усмехнулся. Дмитрий умел говорить то, что думал, но без той резкости, которая была в нём раньше. Год назад он мог огрызнуться, вспылить, ударить кулаком по столу. Теперь он научился смягчать углы. Может быть, потому что работа с клиентами требовала дипломатии. Может быть, потому что он просто повзрослел. А может быть, потому что страх за отца ушёл, и на его место пришла спокойная уверенность, что жизнь продолжается, даже когда кажется, что она кончилась.

— Садись, — сказал Алексей, указывая на стул. Не на тот, для клиентов, а на другой, стоявший у стены — мягче, с подлокотниками. Для своих. — Рассказывай, что знаешь о Шереметевых.

Дмитрий сел, положил на стол блокнот, который всегда носил с собой — чёрный, потрёпанный, с загнутыми углами и надписью на обложке «В.В. Д.» (Владимир Воронцов? Василий Воронцов? Алексей так и не спросил, что означают эти буквы, и, кажется, Дмитрий не горел желанием объяснять). Открыл его на нужной странице и начал, как на допросе — чётко, по пунктам, без лишних эмоций:

— Степан Павлович Шереметев, шестьдесят два года, сенатор, член Государственного совета с 1889 года. Карьеру начал в Министерстве юстиции, потом перешёл в Сенат. Женат на Надежде Павловне, урождённой княжне Оболенской — дальней родственнице того самого князя Оболенского, который давал показания против Мещерского, когда мы его брали. Детей нет. Живут на Английской набережной, в собственном особняке. Особняк старый, ещё екатерининских времён, но Шереметев его поддерживал в порядке. Говорят, тратил на ремонт половину жалованья, потому что для него дом был не просто жильём, а символом рода.

— Детей нет, — задумчиво повторил Алексей, откладывая бумагу Хрулёва в сторону. — Это объясняет, почему вдова так отчаянно ищет мужа. У неё нет никого, кроме него. Родители умерли, родственники далеко, друзей, судя по всему, не завела. Если он исчез навсегда, она остаётся одна в огромном особняке. С прислугой, деньгами, но без человека, с которым прожила двадцать пять лет.

— Или она хочет получить наследство? — Дмитрий пожал плечами. — Тогда ей не нужно нанимать адвоката. Достаточно объявить мужа умершим и получить всё. Особняк на Английской набережной стоит полмиллиона, не меньше. Плюс земля в Тамбовской губернии, плюс акции, плюс облигации. Если она объявит его умершим, через пять лет всё это станет её.

— Ты циник, Дима.

— Я реалист. Мы видели слишком много семей, где любовь кончается там, где начинаются деньги. Помнишь дело Каретниковых? Жена убила мужа за страховку. А родственники полгода ходили в трауре и плакали на похоронах. Потом оказалось, что она сама подстроила несчастный случай.

— Помню. Но здесь не тот случай. Здесь муж пропал, а жена ищет. Если бы она хотела наследство, она бы не нанимала адвоката, который будет копать. Она бы наняла адвоката, который бы убедил суд объявить мужа умершим.

— Или она умнее, чем кажется, — не сдавался Дмитрий. — И понимает, что, если она не будет искать, полиция заподозрит её. Поэтому она делает вид, что ищет. А на самом деле — просто ждёт.

Алексей не стал спорить. Он открыл зелёную папку и начал просматривать документы. Дмитрий, помолчав, тоже склонился над столом, заглядывая через плечо.

Первое, что бросилось в глаза, — письмо, написанное крупным, нервным почерком, с пометками и зачёркиваниями. Письмо было адресовано Алексею, и в нём не было обычных для таких обращений витиеватостей — только суть, только боль, только надежда, переходящая в отчаяние.

Алексей прочитал вслух, негромко:

«Уважаемый Алексей Николаевич!

Я не знаю вас лично, но много слышала о вас от людей, которым доверяю. Вы — единственный, кто сможет помочь. Мой муж, сенатор Степан Павлович Шереметев, исчез 28 августа сего года. Полиция закрыла дело, сочтя его самоубийцей. Это ложь. Он не покончил с собой. Он знал слишком много о делах, в которые замешаны люди с большими связями. Я уверена, что его убили или похитили.

Я готова платить любые деньги. Мне нужна правда, даже если она окажется страшной.

С уважением,
Надежда Павловна Шереметева»

— «Платить любые деньги», — прочитал вслух Дмитрий, когда Алексей закончил. — Звучит как ловушка.

— Или как отчаяние, — ответил Алексей. — Но ты прав, надо быть осторожным.

Он отложил письмо и взял следующий документ — вырезку из «Правительственного вестника» за 3 сентября 1895 года. Маленькая, короткая заметка, которую поместили в разделе «Происшествия» между сообщением о пожаре в Царском Селе и объявлением о продаже лошадей.

Алексей прочитал вслух:

«ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. Сенатор Степан Павлович Шереметев, проживающий на Английской набережной, 28 августа вышел из дома и не вернулся. Полиция ведёт розыск. Всех, кому что-либо известно о местонахождении господина Шереметева, просят обращаться в сыскную полицию.»

— Коротко, — сказал Дмитрий. — Ни фотографии, ни примет, ни даже возраста. Если бы я не знал, кто такой Шереметев, я бы подумал, что пропал какой-нибудь мелкий чиновник.

— Потому что полиция не хотела шума, — ответил Алексей. — Если пропал сенатор — это скандал. Если пропал сенатор, который расследовал хищения в министерстве — это катастрофа для тех, кто эти хищения устраивал. Поэтому заметку сделали маленькой, незаметной, чтобы никто не обратил внимания.

— И сработало? — спросил Дмитрий.

— Как видишь. Кто хотел заметить — заметил. Вдова заметила. А остальные — нет.

Он перелистнул страницу. Там лежал конверт — плотный, кремовый, с гербовой печатью и вензелем «Н.Ш.». Внутри — ничего, кроме ещё одного письма, на этот раз более длинного, более подробного. Алексей пробежал его глазами и отложил в сторону.

— Вдова права, — сказал он. — Полиция не искала. Просто отбыла номер. Составили протокол, опросили соседей — формально, для галочки — и закрыли дело.

— Может быть, они знают больше, чем говорят? — предположил Дмитрий. — Может быть, им велели закрыть дело.

— Возможно. Но тогда возникает вопрос: кто велел? Кто имел достаточно власти, чтобы нажать на полицию и заставить их замолчать? И зачем им это?

— Тот, кто причастен к хищениям, — ответил Дмитрий. — Тот, кого Шереметев разоблачал. У них есть связи в полиции. Или деньги, чтобы купить эти связи.

Они посмотрели друг на друга. Ответ напрашивался сам собой: кто-то, у кого хватило власти нажать на нужные рычаги. Кто-то, кто не хотел, чтобы исчезновение сенатора расследовали слишком тщательно. Кто-то, кто чувствовал себя в безопасности до тех пор, пока молчат свидетели и лежат в архивах нераскрытые дела.

В дверь поскреблись — так скреблась только Матрёна, когда хотела обозначить своё присутствие, но не решалась войти без спроса. У неё была своя, особая манера стучать: не костяшками пальцев, а кончиками ногтей, быстро-быстро, как мышь скребёт. Алексей давно заметил, что по тому, как Матрёна входит, можно определить, что у неё на уме. Если тихо — значит, что-то стряслось. Если с шумом — значит, ничего серьёзного. Сегодня было тихо.

— Войдите, Матрёна, — сказал он, откладывая бумаги.

Старуха просунула голову в щель, оглядела кабинет, убедилась, что «барин не один, но это не страшно, потому что Дмитрий свой», и вошла, неся поднос с двумя стаканами чая, вареньем в розетке и свежими плюшками, которые только что вынула из печи. От плюшек шёл пар, и в кабинете запахло сдобой, ванилью и чем-то ещё домашним, уютным, что так не вязалось с холодным петербургским утром за окном.

— Вот, — сказала она, ставя поднос на стол. — Пейте, пока горячее. В такую погоду без чаю — как без души. Я вам варенья положила — брусничного, с прошлого года осталось. Дмитрий любит брусничное.

— Спасибо, Матрёна, — сказал Алексей, принимая стакан. Он не был голоден, но отказаться от Матрёниного чая было равносильно оскорблению. Он знал это по опыту.

Дмитрий тоже взял стакан, пригубил, одобрительно кивнул.

— И ещё, — Матрёна замялась, перебирая фартук. Она стояла у двери, не решаясь уйти, и в её позе было что-то испуганное, настороженное. — Барин, а та женщина... которая вчера приходила... она нехорошая.

— Почему ты так думаешь? — спросил Алексей, отставляя стакан.

— Глаза у неё недобрые, — твёрдо сказала Матрёна. — И платок в руках мяла, мяла... У кого совесть чиста, тот платок не мнёт. А она мяла. Стояла здесь, в прихожей, ждала вас, я на неё поглядывала — она как бумажку эту, синюю, всё в руках вертела.

— Это был не платок, а перчатка, — поправил Дмитрий. — У неё были перчатки, она их снимала, когда вошла.

— Всё одно, — Матрёна упрямо поджала губы. — Платок — перчатка, не в том дело. В глазах дело. Я много кого в этой прихожей перевидала. И честных, и нечестных. И у каждого в глазах — своё. У этой — страх. И не за мужа страх, а за себя. Я вас предупреждаю.

Алексей усмехнулся. Матрёна была суеверна, как все старухи её возраста, и доверяла своим приметам больше, чем полицейским протоколам. Но в её приметах иногда оказывалась правда. Она, например, задолго до того, как Гурко пришёл с обыском, сказала: «Придут скоро, чужие, не наши». И пришли. Она предупреждала о дурном господине, который оказался шантажистом. И предупреждение сбылось.

— Может быть, она просто волновалась, — сказал Алексей, хотя сам не очень верил в то, что говорил. — У неё муж пропал. Это стресс. Люди в стрессе нервничают.

— Муж пропал, а она к адвокату пришла? — Матрёна поджала губы. — Нормальная баба сначала в полицию бежит, потом к священнику, потом к знахарке, а потом уж к адвокату, если ничего не помогло. А эта — сразу к вам. Как будто знала, что вы поможете.

— Может, и знала. Может, ей кто-то посоветовал.

— Кто? — Матрёна упёрла руки в бока. — Кто ей мог посоветовать? Вы не министр, не генерал, не архиерей. Вы — адвокат. Хороший адвокат, но адвокат. Откуда графиня знает хороших адвокатов? У них свои адвокаты есть, дорогие, солидные, с фамилиями на доске. А вы — сами по себе.

Алексей не нашёлся, что ответить. Матрёна была права в своей прямоте: кто-то действительно рекомендовал его вдове. Но кто? И зачем? И почему вдова не назвала этого человека, когда Алексей спрашивал?

— Ступай, Матрёна, — сказал он мягко, но твёрдо. — Мы разберёмся.

Старуха вздохнула, перекрестилась — широко, истово, как крестят детей перед отходом ко сну, — и вышла, бормоча под нос что-то о том, что «молодые не слушают старых, а потом плачут».

Дмитрий, который всё это время молча пил чай, отставил стакан и усмехнулся.

— А она права, твоя Матрёна, — сказал он. — Кто-то надоумил вдову прийти к тебе. Вопрос — кто. И зачем.

— Мы это выясним, — ответил Алексей. — Но сначала — поговорим с ней самой.

Он взглянул на часы, стоявшие на каминной полке. Большие, напольные, с боем, купленные когда-то отцом на толкучке за бесценок. Часы показывали без четверти десять. Через пятнадцать минут вдова должна была прийти.

Ровно в десять часов в дверь постучали — не как Матрёна, скребясь, а отрывисто, уверенно, как стучат люди, привыкшие, чтобы их слушались. Три удара, пауза, два удара, пауза,

ещё один — ровно столько, сколько нужно, чтобы вошедший обозначил себя, но не показавшись назойливым.

— Войдите, — сказал Алексей, вставая из-за стола. Варя учила его: когда в кабинет входит женщина — вставай. Особенно если эта женщина — графиня.

Дверь открылась, и в кабинет вошла женщина, при виде которой даже Дмитрий, выдававший на своём веку всяких клиентов, на секунду замер с открытым ртом, потом спохватился и тоже встал.

Надежда Павловна Шереметева была высока, тонка, как свеча, которую ветер вот-вот погасит. Ей было сорок пять, но выглядела она на все пятьдесят — не от старости, а от усталости, которая въедается в лицо раньше морщин. Эта усталость не красила, но придавала чертам какую-то трагическую значимость, будто она не просто жила свою жизнь, а отыгрывала роль в древней трагедии, где финал известен заранее и никого не радует.

Платье — чёрное, дорогого сукна, но давно не обновлённое, с лёгким блеском на локтях и коленях, который выдаёт, что вещь носилась долго и не в одном экземпляре. Шляпка — траурная, с крепом, скрывавшим лоб, но не скрывавшим глаз. А глаза были главным.

Глаза Надежды Павловны были серыми, пронзительными, с таким пристальным взглядом, будто она хотела видеть не только лицо собеседника, но и то, что у него за спиной, и то, что он думает, и то, что он скрывает. Они смотрели в упор, не мигая, и в них читалось что-то от старых портретов — тех, что висят в парадных залах дворянских особняков и смотрят на потомков с высоты своих золочёных рам, не мигая, не моргая, не прощая.

Она вошла не как клиент — как судья, входящий в зал заседаний. Не спросила разрешения сесть, не огляделась с любопытством, как это делали другие посетители (одни — с уважением, другие — с пренебрежением, третьи — с плохо скрываемым страхом). Она просто встала у стола, положила на него руки в чёрных перчатках (кожа, тонкая, дорогая, но поношенная, с потёртостями на пальцах), и сказала:

— Присяжный поверенный Алексей Гринев?

— Да, — ответил Алексей, чувствуя, что в этом кабинете он сейчас не хозяин, а подсудимый. — Чем могу служить, сударыня?

— Я Надежда Павловна Шереметева, вдова сенатора Степана Павловича Шереметева. Вы получили мои бумаги?

— Получил. Изучил не все, но основные — да.

— И что вы думаете?

Алексей помедлил с ответом. Он не любил говорить «да» или «нет», не собрав достаточно информации. Слишком многое могло быть не тем, чем кажется. Слишком многое могло быть ложью, прикрытой правдой, или правдой, прикрытой ложью, или чем-то третьим, для чего у него ещё не было названия. Но перед ним стояла женщина, которая, судя по всему, не привыкла ждать. И которая, судя по её глазам, готова была услышать правду — даже если эта правда причинит боль.

— Я думаю, что ваш муж не покончил с собой, — сказал он осторожно, взвешивая каждое слово. — Сенатор, который три года собирал компромат на чиновников, который готовил доклад для императора, который знал, что за его спиной стоят люди, готовые на всё, — такой человек не бросает это дело и не уходит из жизни. Слишком многое поставлено на карту.

— Именно, — кивнула вдова, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение. — Он не самоубийца. Он — борец. А борцы не сдаются.

Она села на стул, который Дмитрий придвинул ей (тот самый, жёсткий, для клиентов, но ей, кажется, было всё равно), и только тогда Алексей заметил, что руки её, лежавшие на коленях, слегка дрожали. Не от холода — в кабинете было тепло, печку топили с утра, — а от напряжения, которое она сдерживала из последних сил. Это напряжение было как пружина:

сжатая до предела, она могла выдержать ещё минуту, ещё пять, ещё десять, но потом неизбежно должна была либо разжаться, либо сломаться.

— Расскажите всё, — сказал Алексей, беря в руки перо. Он не собирался записывать каждое слово, но привычка — вещь сильная, а перо в руке помогало сосредоточиться. — С самого начала. Не пропуская деталей.

Надежда Павловна говорила полтора часа. Иногда её голос срывался, иногда она замолкала, глядя в одну точку на стене — туда, где висела карта Российской империи с красными и чёрными булавками, — но потом брала себя в руки и продолжала, как будто читала заученный текст, который повторяла сотни раз в своей голове, в пустом особняке на Английской набережной, в долгие одинокие вечера, когда надежда тает быстрее, чем свечи в канделябрах.

Она рассказала о муже — человеке, которого знал весь Петербург, но которого никто не понимал.

Степан Павлович Шереметев был сенатором, но не таким, как другие. Он не брал взятки — даже тех, которые считались «дежурными», вроде конверта с золотыми монетами на Рождество. Не просил высоких назначений — довольствовался тем, что имел, и отказывался от повышений, если они сулили лишнюю ответственность, но не давали лишней свободы. Не играл в карты в Английском клубе — презирал азарт и тех, кто на нём богатеет. Он работал. Он читал. Он писал. Он проверял документы, которые другие сенаторы подписывали не глядя, потому что «всё равно не прочитаешь, а подпись нужна».

— Его уважали, — говорила вдова, и в её голосе звучала не гордость, а тихая, спокойная уверенность. — Но не любили. Потому что он всегда говорил правду. А правда никому не нравится, особенно когда она о деньгах. Особенно когда она о тех, кто стоит выше тебя по чину и положению. Особенно когда правда может стоить карьеры, состояния, а иногда и жизни.

В последние три года Шереметев занялся ревизией Министерства путей сообщения. Император Александр III, незадолго до смерти, поручил ему проверить расходы на строительство Транссибирской магистрали — грандиозного проекта, который должен был соединить Москву с Владивостоком, протянуть стальную нить через всю страну, скрепить империю, которая трещала по швам. Строительство уже шло пятый год, истрачены были миллионы, а готовых путей оставалось всё меньше, чем планировали.

— Он нашёл хищения, — сказала вдова. И в голосе её прозвучала горечь — не та, которая приходит от потери, а та, которая приходит от осознания, что зло торжествует. — Огромные. Миллионы рублей. Цифры, от которых у меня темнело в глазах, когда он мне их называл. Эти деньги уходили на подставные фирмы, на фиктивные поставки рельсов и шпал, на откаты чиновникам, которые подписывали акты приёмки, не выезжая на место. Он составил доклад, в котором назвал имена. И потом... потом исчез.

— Вы знаете, кому он показывал этот доклад? — спросил Алексей.

— Знаю. Он показывал его министру путей сообщения князю Михаилу Ивановичу Хилкову. Тот обещал разобраться. Сказал: «Степан Павлович, это серьёзное обвинение. Дайте мне время проверить». А потом... потом исчез муж. И князь Хилков замолчал. На мои письма не отвечает, на приёмы не принимает. Его секретарь, каждый раз, когда я звоню, говорит: «Князь занят, князь уехал, князь не может говорить». Я не знаю, верить ли ему. Может быть, он сам в этом замешан. Может быть, он боится. Может быть, его запугали.

— А что говорит полиция?

— Полиция говорит, что у них нет улик. Что сенатор, возможно, уехал за границу. Что он мог покончить с собой — у него были проблемы с сердцем, он принимал лекарства, но иногда забывал, и тогда давление подскакивало, и он говорил странные вещи, которые можно было принять за бред. Что они продолжают поиски, но «ввиду отсутствия состава преступления» дело временно приостановлено. Но я им не верю. Я вижу, как они смотрят на меня — как на

сумасшедшую старуху, у которой от горя поехала крыша. И боюсь, что, если я буду слишком настойчива, они найдут способ заткнуть меня.

Она замолчала, и в тишине стало слышно, как за стеной Матрёна перебирает ложки — звонкое, механическое «дзынь-дзынь», — и как где-то на Неве гудит пароход, собираясь в рейс в Шлиссельбург, и как в кабинете тикают часы, отмеряя время, которого у сенатора, возможно, уже нет.

Алексей отложил перо. Он исписал уже три листа — вопросами, датами, именами, связями. Теперь нужно было задать главный вопрос — тот, который он откладывал на самый конец, зная, что ответ может всё изменить.

— Надежда Павловна, — сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Почему вы пришли ко мне? Кто вас надоумил?

Вдова подняла на него глаза. В них мелькнуло что-то — страх? надежда? удивление? — и тут же исчезло, спрятавшись за привычной маской спокойствия.

— Муж сказал, — ответила она. — За три дня до исчезновения. Мы сидели в кабинете, он собирал бумаги — готовил доклад для императора, перечитывал, правил, переписывал набело. И вдруг, не поднимая головы, сказал: «Надя, если со мной что-то случится, не ходи в полицию. Они не помогут. И не ходи к нашим знакомым — они предадут. Иди к адвокату Гриневу на Фонтанку. Он тебе поможет».

— Но я не был знаком с вашим мужем, — сказал Алексей. — Никогда не встречал его, не переписывался, не имел с ним общих дел. Откуда он мог знать моё имя?

— Он сказал, что ему посоветовали. Человек, которому он доверял. Человек, который знал вас лично и рекомендовал как «честного и бесстрашного». Я спросила, кто. Он не ответил. Сказал только: «Если всё будет хорошо, я сам тебе скажу. Если нет — ты и так узнаешь».

Алексей переглянулся с Дмитрием. Тот молчал, но по его лицу было видно, что он думает о том же: кто-то, кого Шереметев считал надёжным, рекомендовал Гринева. Кто-то, кто знал о прошлом деле. Кто-то, кто хотел, чтобы Алексей влез в это расследование. Может быть, искренне, из желания помочь. Может быть, с другой целью — подставить, проверить, использовать как наживку.

«Или, — подумал Алексей, глядя на застывшую стрелку отцовского компаса, — кто-то, кто хочет, чтобы я оказался в центре заговора. Чтобы потом можно было меня убрать вместе с сенатором. Один выстрел — две жертвы. Экономно».

— Я возьмусь за это дело, — сказал он вслух. — Но предупреждаю: я не волшебник. Я не могу гарантировать, что найду вашего мужа живым. Я не могу гарантировать, что найду его вообще. Всё, что я могу, — это искать. И говорить правду, когда найду. Вы готовы к этому?

— Я готова к любому исходу, — ответила вдова. И в голосе её не было сомнения — только спокойствие, которое приходит, когда уже ничего не боишься, потому что самое страшное уже случилось. — Я просто хочу знать правду. Даже если она убьёт меня.

— С чего, по-вашему, нам начать?

— С его кабинета. Там, возможно, остались бумаги, которые он не успел забрать. Заметки, черновики, копии — что-то, что поможет понять, кто и зачем. Полиция их не тронула — они сказали, что «в них нет ничего интересного». Но я не верю. Я знаю мужа: он ничего не выбрасывал. Если он копал, значит, у него были доказательства.

— Хорошо. Завтра я приеду к вам на Английскую набережную. Дмитрий поедет со мной — он мой помощник, и я доверяю ему как себе.

Вдова поднялась, подала руку. Рукопожатие было сухим, быстрым, деловым — без той женской мягкости, которую Алексей привык чувствовать в руках своих клиенток. Пальцы у неё были холодные, тонкие, с длинными, чуть искривлёнными суставами — руки человека, который много пишет и мало отдыхает.

В дверях она обернулась.

— Гринева, — сказала она тихо, почти шёпотом, так, чтобы Дмитрий, оставшийся у стола, не расслышал. — Будьте осторожны. Те, кто забрал моего мужа, не остановятся перед чем-то, чтобы защитить себя. Они уже убили человека, которого я любила. Не дайте им убить и того, кто может найти правду.

— Я знаю, — ответил Алексей, хотя знал ли он на самом деле — сомневался.

Дверь закрылась. Шаги затихли на лестнице — сначала на площадке второго этажа, потом на первом, потом в вестибюле, где швейцар открывал двери и снова закрывал, впуская холодный воздух с улицы.

Дмитрий, который всё это время молчал, наконец выдохнул.

— Тяжёлая женщина, — сказал он, покачивая головой. — Не клиентка, а пророк из Ветхого Завета. «Правда убьёт меня». Кто так говорит? Нормальные люди говорят: «Я хочу знать правду, потому что она поможет мне жить дальше». А она — «убьёт».

— Отчаявшийся человек, — ответил Алексей. — Или тот, кто знает больше, чем говорит.

— Ты думаешь, она что-то скрывает?

— Я думаю, что все что-то скрывают. Вопрос — что именно. И зачем.

Он подошёл к карте на стене. Его пальцы пробежали по булавкам — чёрные, синие, красные, — нащупали одну, ту, что отмечала Белгород, выдернули её и воткнули новую, в Петербург, в район Английской набережной. Булавка вошла в плотную бумагу карты с лёгким хрустом, и на секунду Алексею показалось, что он слышит не хруст бумаги, а треск льда, ломающегося под ногами. Туда, куда он собирался идти.

— Начинаем новое дело, — сказал он. — Дело о пропавшем сенаторе.

— А как же смоленские векселя? — спросил Дмитрий. — И крестьяне из Тверской губернии, которые судятся с помещиком из-за земли? И та вдова, у которой отняли пенсию, — она звонила вчера, плакала, говорила, что у неё нет денег даже на хлеб?

— Всё успеем. У нас есть помощники. И у нас есть ты.

Дмитрий усмехнулся — криво, по-старославянски, как улыбался его отец, полковник Воронцов, когда получал неожиданный подарок. Но ничего не ответил. Только взял со стола папку Шереметевой, открыл её, начал листать, вчитываясь в документы, которые Алексей ещё не успел изучить.

Когда Дмитрий ушёл — разбирать бумаги, которые Алексей поручил ему изучить к вечеру, — Гринева остался один. Он перебрал папки на столе, нашёл ту, зелёную, и вынул из неё последний документ — тот, который не показывал даже Дмитрию.

Это был вексель. Старый, пожелтевший, с выцветшими чернилами, но ещё читаемый. На векселе стояла сумма — 50 000 рублей, подпись какого-то купца (фамилия стёрлась, осталось только «П. Б.», и ещё одна подпись — витиеватая, с росчерком, который Алексей видел раньше. Где? Когда? В каком документе, который он держал в руках и который заставил его сердце биться быстрее?

Он поднёс вексель к лампе, повертел, пытаясь вспомнить. И вспомнил.

В деле «Священной десятины» были такие же росчерки. На банковских переводах от «Благотетеля» — того самого, чьё имя Шестаков боялся назвать, того самого, чьи деньги питали заговор, того самого, кто остался в тени, когда Мещерского сослали, Долгорукова посадили, а исполнителей разогнали.

Связь? Совпадение? Или ниточка, которая ведёт из прошлого в настоящее, из одной жизни в другую, из одного заговора в следующий?

Алексей отложил вексель, взял отцовский компас, посмотрел на застывшую стрелку. Она указывала на север — туда, где заканчивается Петербург и начинается дорога на Москву, а оттуда — в Сибирь, по рельсам Транссиба, которые строили из гнилого леса и на которые уходили миллионы, которые кто-то клал в свой карман.

— Папа, — сказал он тихо, глядя на разбитый компас. — Ты говорил: «Ищи неочевидное». Неочевидное здесь в том, что дело сенатора может быть связано с тем, что мы уже раскрыли. Или с тем, что не раскрыли. Или с тем, что никогда не раскроем, если не будем копать достаточно глубоко.

Компас молчал. Но Алексею казалось, что стрелка чуть-чуть сдвинулась — от севера к западу. Туда, где за Фонтанкой начинался Петербург, который он знал слишком хорошо. Где жили те, кто воровал, кто убивал, кто исчезал. Где правда была ценнее золота, а ложь — дешевле грязи.

Варя нашла его в кабинете в одиннадцатом часу. Он сидел в темноте, не зажигая лампы — только свет фонарей с улицы пробивался сквозь шторы, падая на пол жёлтыми, дрожащими полосами, — и смотрел в окно на Фонтанку. Вода в реке была чёрной, гладкой, как зеркало, и в ней отражались огни противоположного берега — редкие, тусклые, похожие на звёзды, которые упали в грязь и не могут взлететь.

— Ты не ужинал, — сказала она, входя. Босиком, в халате, с распущенными волосами, она была похожа на девушку — не на женщину, не на жену, а на ту Катю, которую он впервые увидел в имении Воронцовых, когда она стояла у окна и смотрела на дождливый сад. Только глаза стали другими — старше, мудрее, тревожнее.

— Не хотелось, — ответил он, не оборачиваясь.

— Не хотелось — не причина, — сказала Варя, подходя ближе. — Матрёна оставила щи. На плите, в чугунке. Поешь.

— Потом.

— Потом будет поздно. Ты забываешь есть, когда погружаешься в дело. Я знаю эту твою привычку.

Варя подошла, села на край стола, положила руку ему на плечо. Её пальцы были тёплыми — она только что вышла из спальни, где было тепло, где горела лампада перед иконой, где пахло ладаном и сушёными травами, которые она собирала летом в Белгородской губернии.

— Тяжёлое дело? — спросила она.

— Запутанное. Как всегда.

— Ты найдёшь сенатора?

— Не знаю. Он пропал уже месяц. За месяц следы остывают, свидетели исчезают, документы сгорают. Но я попробую. Я обещал вдове.

— Вдова, — повторила Варя. — Та самая, которую Матрёна боится?

— Она не боится. Она предупреждает.

— Матрёна редко ошибается в людях. Она предчувствует. Если она говорит, что женщина нехорошая, — может быть, в этом есть правда.

— Может быть, — согласился Алексей. — Но дело не во вдове. Дело в её муже. Он что-то знал. И его за это убрали.

— Как Долгорукова? — спросила Варя. — Как Мещерского?

— Не знаю. Возможно.

Она помолчала, потом сказала:

— Я беременна.

Алексей повернулся к ней. В полутьме её лицо было бледным, глаза — большими, влажными, в них стояли слёзы, которые она не пускала, но и не прятала. В руках она держала платок — белый, кружевной, и мяла его точно так же, как сегодня утром мяла свой платок Надежда Павловна. То же движение пальцев, та же дрожь, тот же страх, который невозможно скрыть.

— Ты уверена? — спросил он, беря её за руку. Ему показалось, что у него самого задрожали пальцы — или это просто от холода?

— Врач подтвердил. Сегодня. Я ходила к нему на приём, пока ты был у Гурко. Он сказал, что всё хорошо, что срок маленький, три месяца, но сердце уже слышно.

— Сердце?

— Да. Он дал мне послушать. Через трубку. Оно билось так быстро, так громко, будто стучало в дверь: «Я здесь, я есть, не забывайте обо мне».

Алексей молчал. Слишком много новостей за один день: исчезнувший сенатор, заговор в министерстве, странный вексель с почерком «Благодетеля», беременность жены. Мир вращался слишком быстро, и он не успевал за ним, чувствуя, что ещё немного — и его сорвёт с места, закружит, унесёт в какую-то новую, неведомую пропасть.

— Ты рад? — спросила Варя.

— Не знаю, — честно ответил он. — Я боюсь.

— Чего?

— Что не успею. Что меня убьют раньше, чем я увижу ребёнка. Что ты останешься одна, с младенцем на руках, в этом городе, где никто никому не нужен.

Варя обняла его, прижалась щекой к его плечу, и он почувствовал, как её слёзы падают на его рубашку, пропитывая ткань, оставляя на ней мокрые, тёплые круги.

— Не умрёшь, — сказала она твёрдо. — Ты Гринев. Твои не сдаются.

Он усмехнулся. Это были его собственные слова, сказанные когда-то Дмитрию, когда они готовились к аресту Петра Воронцова. Теперь Варя возвращала их ему — как талисман, как обещание, как напоминание о том, что он не один.

— Пойдём ужинать, — сказал он, вставая. — Холодные щи есть противно. Ты так говорила?

— Я много чего говорю. Ты начинаешь слушать?

— Начинаю.

Они вышли из кабинета, оставив компас на столе. Стрелка по-прежнему смотрела на север. Но теперь Алексею казалось, что он знает, куда идти. Туда, где правда. Туда, где опасность. Туда, где будущее.

Он не знал, что уже через несколько дней ему предстоит сделать выбор, от которого зависят жизни многих людей. Он не знал, что след сенатора Шереметева приведёт его к людям, которых он считал друзьями, и к тайнам, которые он надеялся похоронить вместе с делом «Священной десятины». Он не знал, что человек, который должен быть мёртв, уже вернулся и ждёт своего часа за стенами новой тюрьмы.

Но он знал главное: он не один. И пока это знание живёт в нём, он не проиграет.

В тот вечер, прежде чем лечь спать, Алексей написал в своём блокноте — том самом, в кожаном переплёте, который купил ещё студентом на Литейном и который хранил теперь в ящике письменного стола, рядом с отмычками и запасными чернильницами.

Блокнот был исписан неровными строчками — вопросы, ответы, догадки, имена, даты. Алексей вёл его по совету отца: «Лучше один раз записать, чем десять раз вспоминать. Память — девица капризная. Сегодня она с тобой, завтра — нет. А бумага стерпит всё».

Он открыл блокнот на новой странице и написал:

«25 сентября 1895 года.

Дело Шереметева. Первое впечатление.

1. Сенатор не самоубийца. У него был мотив жить — раскрыть коррупцию, добиться справедливости. Он знал, что делает, и знал, чем это может кончиться. Но он не из тех, кто отступает.

2. Он знал, что ему угрожает опасность. Иначе не сказал бы жене: «Если со мной что-то случится, иди к адвокату Гриневу». Он готовился к худшему. Но не успел.

3. Кто-то рекомендовал ему меня. Кто-то, кто знает о моём прошлом деле. Кто-то, кому он доверял. Кто-то, кто хочет, чтобы я занимался этим делом. Вопрос: зачем? Чтобы помочь? Или чтобы я стал следующей жертвой?

4. Полиция закрыла дело слишком быстро. Не прошло и двух недель после исчезновения — а уже «отсутствие состава». Значит, на неё надавили. Сверху. Люди с большими связями и большими деньгами.

5. Вдова не говорит всей правды. Я чувствую это. Она что-то скрывает — о муже, о себе, о причинах, по которым пришла именно ко мне. Но я не знаю, что именно. Возможно, она боится. Возможно, стыдится. Возможно, защищает того, кто ей дорог, даже ценой правды.

Завтра — обыск в кабинете сенатора. Надеюсь, найду то, что пропустила полиция. Или то, что они не захотели замечать.

P.S. Варя беременна. Мы будем родителями. Страшно.

P.P.S. Компас всё ещё показывает на север. Но я пойду на запад. Туда, где Английская набережная. Туда, где особняк Шереметевых. Туда, где, возможно, ждёт ответ.

P.P.P.S. Папа, если ты меня слышишь — помоги. Я не знаю, правильно ли я поступаю. Но я знаю, что не могу остаться в стороне. Ты учил меня: "Никто не решит эту задачу, кроме тебя". Значит, решаю.»

Он закрыл блокнот, положил его в ящик стола и погасил лампу. В комнате стало темно — только фонари на набережной отбрасывали на потолок длинные, дрожащие полосы света, похожие на пальцы, которые тянутся к кому-то, но не могут дотянуться.

Алексей закрыл глаза и попытался уснуть. Но сон не шёл.

Перед глазами стояло лицо вдовы — белое, с горящими серыми глазами, — и её голос звучал в ушах, повторяясь, как заевшая пластинка: «Я просто хочу знать правду. Даже если она убьёт меня».

«Она убьёт не тебя, — подумал Алексей. — Она убьёт тех, кто её боится».

Он перевернулся на другой бок и наконец уснул — без снов, тяжёлым, тревожным сном человека, который завтра идёт в бой, но не знает, с кем и против кого.

За стеной, в комнате Матрёны, тикали ходики, отсчитывая минуты до рассвета.

Глава 2. След в министерстве путей сообщения

Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом 117

26 сентября 1895 года, одиннадцать часов утра

Ночной разговор с Варей оставил в душе Алексея странный осадок — не горький, не сладкий, а какой-то тягучий, как патока, которая льётся медленно, и никак не оторвёшься, и хочется попробовать ещё, и боишься, что приторно будет. Беременность жены — это была не радость, нет, радость была, но не та, про которую пишут в романах, когда герой узнаёт, что станет отцом, и падает в обморок от счастья. Это было что-то другое: тяжёлое, как мешок с картошкой, который ты берёшь на плечо и не знаешь, донесёшь ли до дома или упадёшь по дороге.

Он лежал без сна, глядя в потолок, где свет фонарей рисовал причудливые узоры — то лицо старухи, то дерево, то букву «Г», которую он сначала принял за «Гринева», а потом понял, что это просто трещина в штукатурке. Варя спала рядом, положив голову ему на плечо, дышала ровно, глубоко, и иногда, во сне, улыбалась — чему? Своим снам, о которых она никогда не рассказывала, потому что, по её словам, «сон, если его рассказать, не сбудется». Алексей не верил в приметы, но Вариных снов не расспрашивал — у каждого должно быть что-то своё, не для других.

Утром он встал раньше обычного — часы показывали половину седьмого, когда он уже сидел на кухне и пил кофе. Матрёна, заставшая его за этим занятием, всплеснула руками:

— Ох, барин, не выспались опять? Глаза-то красные, как у хорька.

— У хорька глаза чёрные, Матрёна, — ответил он, не отрываясь от чашки.

— А у нашего хорька — красные, потому что он вчера всю ночь мышей ловил. Вы, барин, не хорёк, вы человек. Вам спать надо.

— Выплюсь, когда дело сделаю.

— Когда дело сделаете, тогда новое начнётся. Когда новое начнётся, тогда опять не до сна. Так и померёте за письменным столом, с пером в руке. — Матрёна вздохнула, перекрестилась на икону в углу кухни — маленькую, медную, которую она привезла из Твери и повесила над плитой, чтобы «еда не пригорала». — Господь с вами, барин. Хоть бы ребёнка дождались.

Ребёнок. Алексей отставил чашку. Он ещё не сказал Матрёне о беременности Вари — не потому, что хотел скрыть, а потому, что не знал, как сказать. Слова вязли в горле, как недо-варенная каша.

— Матрёна, — начал он, потом замолчал.

— Что, барин?

— Ничего. Потом.

Матрёна покачала головой, но расспрашивать не стала. Она была мудра той крестьянской мудростью, которая знает: если человек хочет сказать — скажет. Если молчит — значит, не время.

Дмитрий пришёл к девяти, как договаривались. На нём был новый сюртук, который он купил на прошлой неделе — тёмно-синий, с тонкой белой полоской, модный, но не вызывающий. Алексей заметил, что Дмитрий стал следить за одеждой с тех пор, как начал работать помощником: раньше он мог появиться в чём попало, не обращая внимания на пятна и складки, теперь же его костюм всегда был отутюжен, ботинки начищены, галстук завязан строгим узлом.

— Готов? — спросил Алексей, застёгивая пальто.

— Готов. — Дмитрий взял со стола зелёную папку с делом Шереметева. — Только не понимаю, зачем нам в министерство? Вдова сказала, что муж показывал доклад князю Хилкову. Но Хилков — министр, к нему на приём не запишешься за день.

— Мы идём не к Хилкову. Мы идём к его подчинённым. Директорам департаментов. Начальникам отделов. Тем, кто готовил документы для сенатора. Кто-то из них должен знать, куда делись бумаги после того, как Шереметева не стало.

— Ты думаешь, они будут говорить?

— Не будут. Но умеющий слушать услышит и то, что не сказано. Мой отец учил: «Слова — это шум. Истина — в паузах».

Матрёна, вышедшая проводить их в прихожую, перекрестила Алексея широким крестом, потом, подумав, перекрестила и Дмитрия.

— Не сердитесь, барин, — сказала она Дмитрию, который смотрел на неё с лёгким недоумением. — Я всех крещу, кто на дело идёт. У меня рука лёгкая.

— Спасибо, Матрёна, — ответил Дмитрий, скрывая улыбку.

Они вышли на набережную. С утра дождь прекратился, но ветер не утих — он дул с Невы, холодный, пронизывающий, заставлявший прохожих кутаться в воротники и ускорять шаг. Алексей поднял воротник пальто, достал из кармана отцовский компас — старый, разбитый, с вмятиной от пули — и посмотрел на стрелку. Она по-прежнему смотрела на север.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти десять, — ответил Дмитрий, глянув на серебряные часы-луковицу. — Если поедем на извозчике, будем на месте через двадцать минут.

— Пошли пешком. Нужно подумать.

Они пошли по набережной Фонтанки, в сторону Летнего сада. Вода в реке была чёрной, гладкой, как полированный гранит, и только редкие льдинки напоминали о том, что осень вступила в свои права. На противоположном берегу тянулись дома — старые, с колоннами и лепниной, доходные, с облупившейся штукатуркой, и казармы, серые, казённые, с маленькими окнами, похожими на глазницы черепа. Город жил своей жизнью, не обращая внимания на двух мужчин, которые шли по набережной с папкой документов и тревогой в глазах.

Алексей думал о вчерашнем — о вдове, о её дрожащих руках, о том, как она сжала платок, когда говорила о муже. И о странной фразе: «Правда убьёт меня». Он слышал такие слова раньше. Их говорили те, кто знал слишком много и боялся сказать. Или те, кто уже сказал и теперь ждал расплаты.

— Дима, — спросил он, не глядя на спутника. — Ты веришь ей? Вдове?

— Не знаю, — честно ответил Дмитрий. — Что-то в ней есть... не то. Как будто она играет роль. Но не нарочно, а сама не зная, что играет. Может быть, она так боится, что даже не понимает, что делает.

— Отец говорил: «Ищи неочевидное». Неочевидное здесь не в том, что она врёт. Неочевидное в том, что она скрывает. И это «что-то» важнее её слов.

Они свернули на набережную, где начинался квартал министерств. Здания здесь были выше, массивнее, с колоннами и портиками, с гербами на фронтонах и флагами, которые трепетали на ветру, как крылья огромных, застывших птиц. Воздух здесь пах иначе — не рыбой и сыростью, а дорогими экипажами и лакейским потом. Это был запах власти.

Здание на Фонтанке, 117, было построено в 1820-х годах для какого-то князя, но потом его выкупила казна, и здесь разместилось Министерство путей сообщения. Архитектор, проектировавший его, явно хотел внушить трепет: высокие колонны, широкие лестницы, огромные двери из морёного дуба с бронзовыми ручками в виде львиных голов. Внутри это впечатление усиливалось: мраморные полы, зеркальные стены, люстры, которые даже днём горели, отражаясь в бесчисленных гранях хрусталя.

Алексей и Дмитрий вошли в вестибюль, где их встретил швейцар в синей ливрее с золотыми галунами — старик с бакенбардами, как у императора Александра III, и с таким важным видом, будто это он, а не министр, управлял ведомством.

— Вы к кому, господа? — спросил швейцар, даже не подумав приподнять фуражку.

— К директору департамента, — ответил Алексей, доставая из кармана визитную карточку. — У нас назначено.

Назначено не было. Но Алексей знал, что в таких местах без назначения не пускают даже дворника, поэтому он сказал первое, что пришло в голову. Швейцар взял визитку, покрутил, посмотрел на свет.

— Присяжный поверенный Гринев, — прочитал он вслух. — К какому именно директору?

— К Петру Андреевичу Оболенскому, — ответил Алексей, вспомнив фамилию, которую нашёл в бумагах вдовы. Оболенский был начальником департамента, где работали чиновники, готовившие документы для сенаторской ревизии.

Швейцар нахмурился, но посторонился.

— Вторая дверь направо, по коридору. Потом налево. Потом прямо. Там спросите.

Коридоры Министерства путей сообщения были длинными, бесконечными, похожими на лабиринт, в котором легко заблудиться и из которого нет выхода. Полы здесь были не мраморными, а деревянными, натёртыми до блеска, и каждый шаг отдавался гулким эхом, разносившимся по всему этажу. Стены были увешаны портретами министров прошлых лет — все они смотрели с высоты своих золочёных рам строго, с укором, как будто говорили: «Вы здесь чужие, вы здесь лишние, идите отсюда, пока не поздно».

Алексей шёл быстро, не оглядываясь. Дмитрий едва поспевал за ним, путаясь в длинных полах пальто и то и дело натываясь на углы.

— Лёша, — прошептал он, — откуда ты знаешь этого Оболенского?

— Не знаю. Но он единственный из чиновников, чьё имя фигурирует в документах Шереметева. Именно его департамент проверял подрядчиков. Если кто-то и знает, куда исчезли бумаги, так это он.

— А если он их спрятал? Или уничтожил?

— Тогда мы узнаем это по его глазам. И по паузам. Отец учил: «Когда человек говорит "нет", смотри на его веки. Если они дрогнули — значит, он думает о том, как солгать».

Они нашли кабинет директора департамента — массивная дверь из красного дерева с бронзовой табличкой: **«Пётр Андреевич Оболенский, директор Департамента контроля финансовых отчётов»**. Алексей постучал. Тишина. Постучал ещё раз.

— Войдите, — раздался голос за дверью.

Они вошли.

Кабинет Оболенского был просторным, светлым, с высокими окнами, выходящими на Фонтанку. Мебель — красное дерево, полированное до зеркального блеска. Стены — в тёмно-зелёных шпалерах, на которых висели карты железных дорог Российской империи — Транссибирской магистрали, Николаевской, Варшавской, — все они были перечерчены синими и красными линиями, похожими на кровеносные сосуды гигантского организма, имя которому — империя. На столе — несколько папок, чернильный прибор из малахита, серебряный портсигар и фотография в рамке: красивая женщина в светлом платье и двое детей, мальчик и девочка.

Сам Оболенский сидел в кресле, откинувшись на спинку, и, казалось, дремал, хотя глаза его были открыты. Ему было лет пятьдесят, но выглядел он моложе — подтянутый, гладко выбритый, с аккуратной бородкой, которая седела только на висках. Мундир — тёмно-зелёный, с серебряным шитьём на воротнике и манжетах, — сидел на нём так, будто он в нём родился и вырос.

Алексей заметил это сразу: чиновник был из тех, кто никогда не сутулится, кто пьёт чай с лимоном ровно в пять часов, кто знает, что хорошо, а что плохо, и не допускает даже мысли о том, что его оценка может быть ошибочной.

— Чем обязан, господа? — спросил Оболенский, даже не привстав. — Вы записаны?

— Мы не записаны, — честно признался Алексей, садясь на стул напротив. Дмитрий остался стоять у двери. — Но у нас есть дело, которое требует вашего внимания.

— Дело? — Оболенский поднял бровь. — Вы, кажется, адвокат. Адвокатов мы не нанимаем. У нас свой юридический отдел.

— Я не предлагаю свои услуги, Пётр Андреевич. Я расследую исчезновение сенатора Шереметева. Его вдова наняла меня, чтобы найти правду.

Оболенский не изменился в лице. Ни дрожи век, ни сжатых губ, ни побелевших костяшек. Он был спокоен, как удав, которого не трогают, и которому некуда спешить.

— Сенатор Шереметев, — медленно повторил он. — Да, печальная история. Достойный человек. Но полиция уже закрыла дело. Самоубийство. Старые раны, сердечные проблемы, депрессия. В нашем возрасте это часто случается.

— Вы не верите в самоубийство, — сказал Алексей, глядя ему прямо в глаза. — Я вижу.

— С чего вы взяли?

— Потому что человек, который верит в версию полиции, не прячет папку, когда на неё смотрят.

Оболенский на долю секунды замер. Потом медленно, с достоинством, закрыл папку, лежавшую на столе, и убрал её в ящик. На папке было написано: «Дело Шереметева. Гриф "Секретно"».

— Вы наблюдательны, господин Гринева, — сказал он, и в голосе его прозвучала сталь. — Это похвально. Но в данном случае ваша наблюдательность излишня. Дело закрыто. Бумаги хранятся в архиве. Ничего секретного в них нет — просто формальности.

— Если ничего секретного — зачем гриф?

— Бюрократия, — усмехнулся Оболенский. — Её не победишь. Даже мёртвого чиновника продолжают перекладывать с папки в папку.

— Сенатор Шереметев не был мёртв, когда его дело переложили в секретный архив. Он был жив. И работал над докладом о хищениях в вашем министерстве.

Оболенский поднялся. Не резко, не взволнованно — спокойно, как человек, который хочет показать, что он выше этого разговора.

— Господин Гринева, — сказал он, — я ценю вашу настойчивость. Но вы не имеете права требовать от меня документы, которые являются служебной тайной. И не имеете права задавать мне вопросы, на которые я не обязан отвечать. Если у вас есть официальный запрос от суда — предъявите. Нет — до свидания.

— У меня пока нет запроса, — признал Алексей, тоже вставая. — Но я добьюсь его. А пока — я просто хочу понять: почему вы, человек, которому сенатор доверял, так легко с ним расстались?

Оболенский посмотрел на него долгим взглядом. И ответил — негромко, почти ласково, как лектор, объясняющий студенту прописную истину:

— Потому что сенатор Шереметев был романтиком. А романтики опасны. Они верят в правду, в справедливость, в то, что мир можно изменить, если говорить громко и долго. Но мир не меняется. Мир остаётся таким, какой есть. И те, кто пытается его менять, исчезают.

— Исчезают? — переспросил Дмитрий, который до сих пор молчал. — Или их исчезают? Оболенский перевёл взгляд на него.

— Вы, молодой человек, — сказал он, — очень похожи на вашего отца. Тот тоже был горяч. И тоже лез, куда не просят. Чем это кончилось, вы знаете.

Дмитрий побледнел. Алексей знал, что сейчас произойдёт что-то нехорошее. Дмитрий не умел сдерживаться, когда речь заходила об отце — о его болезни, о его позоре, о том, как его чуть не посадили из-за доноса Петра Воронцова.

— Не смейте, — сказал Дмитрий, делая шаг вперёд.

— Дима, — остановил его Алексей. — Выйди.

— Нет, я...

— Выйди. Я сам.

Дмитрий посмотрел на него, потом на Оболенского, потом повернулся и вышел, хлопнув дверью так, что задребезжали стёкла в высоких окнах.

Оболенский усмехнулся.

— Горячая голова. Как у всех Воронцовых. Вы, Гринев, с ними осторожнее. Они могут натворить дел.

— Они уже натворили, — спокойно ответил Алексей. — И помогли мне раскрыть заговор против императора. А вы, Пётр Андреевич, в те дни были на стороне победителей. Или всё же наблюдали со стороны?

Оболенский не ответил. Он подошёл к двери, открыл её и позвал:

— Василий Иванович! Проводите господ.

В коридор вышел чиновник в чёрном сюртуке — маленький, сутулый, с лицом, напоминавшим старую, потрёпанную книгу. Он молча кивнул и пошёл вперёд, показывая путь к выходу.

На пороге кабинета Алексей обернулся.

— Я найду правду, Пётр Андреевич. С вашей помощью или без неё.

— Ищите, — ответил Оболенский. — Только не удивляйтесь, если найдёте то, что не хотели знать.

Дверь закрылась.

Дмитрий ждал Алексея на мраморной лестнице, прислонившись к колонне. Он был бледен, руки его дрожали, и он сжимал поручень так, что побелели костяшки. Увидев Алексея, он выдохнул:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.